# Мамонт

# Кир Булычев

## 1

Петр Гаузе — коренной русак. Фамилия от предка, саксонца, который нанялся Петру Великому в драгунские капитаны, служил честно, поселился в России, скончался в бригадирском чине, окруженный детьми и внуками. Отсюда пошли Гаузе — преимущественно Петры, все коренные русаки.

В конце полевого сезона 1976 года Петр Петрович Гаузе искал мамонта, но лодка перевернулась. Петр чудом выбрался из потока, вполз по осыпи повыше, оглянулся. От его лодки, припасов, документов, фотокамер, сигарет и дневников ничего не сохранилось — по стремнине неслось одно весло.

Горше всего без сигарет. Бог с ними: с едой, документами и теплой одеждой — страшно остаться в лесу без сигарет.

Петр Гаузе пошел вниз по реке. Сыпал мелкий дождь, ночью разве что не примораживало. Придется мамонту ждать до следующего лета.

На второй день, изголодавшись, промаявшись без сна под корнями поваленной ели, Гаузе решил срезать километров десять. Река делала петлю, вот и решил срезать. Если бы не так хотел курить, не посмел бы удалиться от берега.

Часа три пробирался сквозь бурелом, наткнулся на брусничную россыпь. Брусника еще не поспела, была розовой, мучнистой. Гаузе долго ползал от кустика к кустику, пока не показалось, что почти сыт. Тогда-то и потерял направление. Солнце не видно, облака цепляют за вершины деревьев, лишайники растут как вздумается и не показывают, куда идти.

Гаузе пошел туда, где ниже. Чтобы попасть к реке, потом к людям и к сигаретам. К вечеру отыскал ручеек, на его берегу переночевал, а утром ручей привел его в болото и кончился. Некоторое время Гаузе сидел на краю трясины и утешал себя, что другие бродили неделями, и ничего, оставались живы. Побрел дальше.

Совсем отчаялся, чуть не плакал — вдруг увидел железную дорогу. Принял ее за галлюцинацию, тем более что была она неполноценной: только насыпь и шпалы. Насыпь кое-где осела, шпалы расползлись.

Петр Гаузе пошел по шпалам. Шаг маленький — шаг большой, шаг короткий — шаг широкий. Размышлял: когда дорогу забросили? То ли ошибка царских инженеров, то ли причуда сталинских пятилеток. Километров через пять спустился с насыпи, пожевал брусники, но далеко не отходил: насыпь, как ниточка, выведет к людям.

Потом Гаузе нашел мертвого человека.

## 2

Ему не хотелось называть человека трупом. Это из области криминалистики. Гаузе поглядел на человека и понял, что в лесу водятся волки. А до того казалось, что только Гаузе и птицы.

У мертвого человека не было лица и кисти правой руки. Можно было полюбопытствовать, как устроена человеческая голова изнутри, но Гаузе этого делать не стал, а отвернулся и принялся искать глазами волков.

Моросил холодный дождик, он уже смыл кровь со шпал и теперь полоскал окровавленную траву между ними. Руки Гаузе совсем окоченели, он держал их в мокрых карманах.

Мертвый человек был одет теплее, чем Гаузе. На нем был стеганый ватник, теплые штаны и армейские ботинки. Наверно, он был охотником, да расстрелял все патроны, а ружье потерял.

Мертвому человеку ватник не нужен, можно снять. Только скорее, пока не стемнело. Но Гаузе медлил, ему неловко было раздевать другого человека. Он сосчитал до ста, потом до пятидесяти.

Петли ватника, пришитые с краю, были широкие, видно, охотник много раз его расстегивал. Потом Гаузе стал стаскивать ватник с рук, ворочать мертвого человека, который окоченел, словно нарочно расставил руки. Когда Гаузе повернул его на бок, увидел за спиной вещевой мешок. В мешке — горбушка черного хлеба, совсем размокшая, тряпки, нож с наборной ручкой, мешочек с разбухшей крупой, три куска мокрого сахара в бумажке.

Надо было отойти в сторону: неловко жевать при мертвом человеке. Но Гаузе не удержался, откусил от горбушки. Проглотить трудно, словно разучился жевать и глотать. Гаузе откусывал новые комья, чтобы протолкнуть ими те, что в горле застряли. Когда проглотил последний кусок, тут его и вырвало. Весь хлеб наружу — такая жалость! Его дергало, сотрясало, а он ругал себя за спешку.

Когда отдышался, положил в рот кусок мокрого сахара и стал сосать. Комочки хлеба и непереваренные розовые брусничины забрызгали все вокруг, пришлось ватник отряхивать, но кровь с него не сошла.

Гаузе натянул ватник — маловат, сыр, но вроде бы стало теплее. Штаны и ботинки с мертвого человека снимать не стал слишком.

Гаузе закинул за плечо невесомый мешок, нож сунул в карман, прикрыл тряпочкой лицо мертвому человеку и пошел дальше: широкий шаг, короткий, длинный, маленький, как шпалы велят.

Через сто шагов Гаузе увидел на шпалах серую ушанку, натянул ее, хоть мала и промокла.

Начало темнеть. Гаузе считал шпалы, но задумывался и сбивался со счета. Считал снова и чуть не пропустил недалекий гудок.

Гудок мог каждую секунду прерваться, надо было подойти к нему поближе, чтобы потом не заблудиться. Гаузе побежал, увидел справа просеку, которая вела к гудку. Он вытащил из кармана нож, от волков, и спустился с насыпи.

## 3

Петр Гаузе вышел к жилью, когда уже стемнело. Воздух стал синим, строения впереди — как кубики в тумане. Но тут врубили свет — звездами перед глазами фонари, кометами — лучи прожекторов. И уже не видно, что там, только живой свет.

Петр Гаузе, хоть и выбился из сил, сразу сообразил, что перед ним объект. Объект — это общее слово, включает то, что не деревня и не город.

Больше шансов в лесу увидать объект, чем деревню. Объекты чаще стоят там, где никто не подозревает. В этом секретность и интересы государства.

Луч прожектора отыскал Петра Гаузе и пришпилил к земле, как булавка бабочку. Петр Гаузе с радостью подчинился. Сел на мокрую траву вырубки, сразу задремал, жаль только, документы остались в лодке, придется звонить, выяснять, хороший ли он человек, в самом ли деле палеонтолог.

Недолго нежился Петр Гаузе в дремоте: его разбудили грубым толчком, рядом — сапоги. Ему велели, чтобы он, сука, вставал, и заломили руки за спину. Отобрали ножик, мешок, а Гаузе повторял, чтобы товарищи не беспокоились, он сам пойдет, но его не слушали, и Гаузе был не в обиде: они имели право так обращаться с неизвестным лицом, вышедшим из леса. Такие функции у охраны объекта. Редко шпион попадается, но надежда на шпиона есть.

Щелкнуло сзади, кисти рук стянуло. Наручники? Пошел Гаузе вперед, скользя по грязи, прямо в солнце прожектора. И думал: когда уладится, они выпьют по маленькой, все мы славные ребята, настоящие русаки.

Земля под ногами стала тверже, значит, вышли на дорогу. А потом возник шлагбаум, ворота, загородки, солдаты, проволока в несколько рядов.

Прожектор отпустил глаз. Гаузе разглядел, что впереди длинные строения с решетками на окнах, а дальше большой дом, идти к которому по деревянным мосткам. Мостки вздрагивали, хлюпали и были скользкими.

Вот и рядом большой дом. Кирпичный, в три этажа. Застекленная дверь. Затолкнули Гаузе туда. Ну и холл! Он полукругом охватывал мраморную лестницу шириной метров в пять, которая вела, раздваиваясь, на второй этаж. Перила, округлые на концах, были украшены бронзовыми амурами. Ноги и низ животов амуров были отполированы до блеска — кто спускался по лестнице, хватался за них.

Из холла в стороны — резные двери, в стиле модерн начала века, навевают грусть по вольно вьющимся женским волосам и струйкам сигаретного дыма. Хотел Гаузе попросить сигарету у конвоиров, да вспомнил, что руки заняты наручниками.

— Схватили? — спросил седой сержант, что сидел за столиком у одной из дверей. Перед ним листы бумаги, а пальцы — в фиолетовых чернилах.

— Полковник у себя? — спросил тот, кто топал сзади Гаузе.

Он вышел вперед, и Гаузе его разглядел. Капитан был высок ростом, гладок лицом. Лицо концентрировалось в центре, переходя в большой, устремленный, острый к концу нос. Все лицо было создано, чтобы служить носу фоном и стартовой площадкой. Казалось, и тело капитана, наполненное крепким тугим жиром, мягко ширящееся к поясу и сужающееся к коленям, таинственным образом служит опорой носу и самостоятельного значения не имеет.

Тут Гаузе и себя увидал в зеркале, схожем с дверью и висящем между дверей. И не сразу сообразил, что это он — старший научный сотрудник, кандидат наук П.П. Гаузе, коренной русак.

Бродяга в зеркале оброс рыжей щетиной, был грязен и страшен. Изношенная до крайности ушанка сбилась набекрень — одно ухо кверху, как у битого щенка, из-под нее — диким светом глаза, звериный взгляд, но трусливый. Мокрый окровавленный ватник расстегнут, под ним разодранная на животе куртка, не поймешь какого цвета, джинсы в грязи, а вместо ботинок на ногах — плюхи глины. Уголовный рецидивист, попался, когда в окно сельского магазина лез. Такому доверия нет. Понял это Петр Гаузе и сказал:

— Ну и дела!

Тут бы провести по лицу, убедиться, что ты — это ты, а руки за спиной онемели. И ног у входа не вытер.

Капитан обернулся от двери, прицелился носом в Гаузе, но тут изнутри послышалось: «Давай!».

Гаузе замешкался, старался вытереть ботинки один о другой, шмат грязи отлепился и шлепнул о пол. Солдат ему в спину автоматом ткнул.

Гаузе поспешил в кабинет.

## 4

За столом, лицом к двери, сидел полковник.

Видно, специально к встрече не готовился: мундир нараспашку, там серая фуфайка. А выбрит так, включая голову, что свет от хрустальной люстры отражается зайчиками и стоит головой пошевелить, как зайчики бьют в глаза, заставляют жмуриться.

Полковник — как солнышко, светл, округл, составлен из шариков. Все шарики разграничены и правильны. Шарики-щечки вылезают под шариками глазками, а над ними лоб — шаром более других.

Полковник посмотрел на Гаузе и огорчился его диким видом. Отвернулся, взял со стола пластиковый мешок — в таких крупу хранят, — приставил к пышным губам, надул шарики-щечки и стал пыжиться.

— Здравствуйте, — сказал Гаузе. — Не выйдет, в пакете дырка.

— Вот именно, — согласился полковник. — Погляди, Левкой.

Капитан сделал строевой шаг к столу, пригляделся носом и сказал:

— Так точно, прогрызено.

Уморительно сказал, Гаузе улыбнулся. Ну вот, кончились его скитания, люди ему попались милые, сейчас разберутся.

— Надо меры принимать, — сказал полковник. — Не хотел я на это идти, но придется. А ты, П-234, не улыбься, нет у тебя к этому оснований.

— Что с ним делать будем? — спросил капитан Левкой, имея в виду Гаузе.

— А номер он зря оторвал, — сказал полковник. — Недостойно это советского человека, номер с себя рвать. Значит, как за ворота, так и номер не нужен?

— Отвечай, — подсказал Левкой Петру Гаузе.

— Не понял, — сказал Гаузе, сохраняя на щеках ухмылку.

— Не понял он, — вздохнул полковник. — Непонятливый.

— Разумеется, — сказал Гаузе, — я виноват в том, что подошел близко к объекту, вверенному вам, но войдите в мое положение. Три дня в лесу, без пищи, а я ведь чуть не утонул, перевернулся в лодке, и все документы пропали. Вы можете позвонить в область, там вам все разъяснят.

Гаузе показал на телефонный аппарат, стоявший на столе. Теперь уж подошла очередь полковнику улыбаться. Что он и сделал. Пробежал толстыми пальчиками по телефонному шнуру, черная змейка тянулась-тянулась, вытянулась до конца. На конце белый бантик привязан, покачивается, а за бантиком черная крыса выскочила, подпрыгивает, играет с бантиком как котенок.

— По этому телефону позвонить? — мягко полковник спросил, без нажима, с некоторой только обидой.

— Простите, я не знал, — сказал Гаузе. — Значит, с другого аппарата придется звонить. А крыса такая смешная, ну ведет себя совершенно как котенок.

— А номер снимать не положено, — сказал полковник и, отпустив телефонный шнур, принялся снова надувать дырявый пакет.

— Зовут меня Гаузе, Петр Петрович, русский, 1940 года рождения, беспартийный, под судом и следствием не состоял, в плену и оккупации не был, родственников за границей не имею...

Полковник прервал его, подняв палец.

— Снятие номера, — сказал он, — приравнивается к экономическому саботажу. В то время как у нас каждый лоскут на учете, ты, П-234, нагло, посреди белого дня, выкидываешь его в кусты. А люди старались...

— Какой номер?

— А вот такой.

Полковник извлек из кармана грязную белую тряпку, в две ладони, на ней черным: «П-234».

— Не веришь, что нашли? Не веришь? А волки на что?

Гаузе пожал плечами. Ничего ему эта тряпка не говорила.

— Я искал мамонта, — сказал он. — Не нашел, потерпев крушение.

Вздохнул полковник.

— На суде, — сказал он, — это может послужить водоразделом между жизнью и смертью. А уж лишнюю пятерку я тебе гарантирую.

— Ты слушай, — посоветовал капитан Левкой.

Нос его приблизился к лицу Гаузе, откуда-то, невесть откуда кулак выскочил. И в подбородок Петру Гаузе врезал.

Петр Гаузе поднялся на ноги, раздумывая, откуда кулак взялся, если и полковник, и капитан смотрят на него с интересом, без озлобления, сами не понимают, зачем он на пол садился. Гаузе головой помотал, хотел возразить, но тут увидел на столе пачку папирос «Казбек». И так ему захотелось покурить, что непроизвольно сказал:

— Разрешите папироску, товарищ полковник.

Полковник удивился, пакет на стол опустил, руками развел: вот, мол, какой странный человек мне попался, — и вежливо, пальчиком, пачку через стол повез, к Гаузе.

Но только Гаузе дотянулся до пачки, как кулак его снова настиг. И на пол свалил с помутнением сознания. А в глаза зайчики били, потому что полковник привстал, даже через стол перегнулся, смотрел на Гаузе с сочувствием, но пачку папирос тем временем спрятал в ящик стола.

— Пускай отдохнет до суда, — сказал полковник. — Намаялся.

Он из воздуха бумажку взял, протянул Петру Гаузе.

Гаузе бумажку получил, а Левкой к нему наклонился, авторучку подал, показал, где расписаться в получении.

Это повестка была.

«Товарищеская тройка приглашает Вас явиться на разбор Вашего дела в любое удобное для Вас время от 15 часов до 15 часов 3-х минут завтрашнего дня».

Левкой ручку забрал обратно и стал подталкивать Гаузе к двери, сапогами, и Гаузе даже одобрял его брезгливость, потому что Гаузе был очень грязен.

На четвереньках выполз Гаузе в холл, сержант за столиком головой покачал — ах как нехорошо здесь ползать! — обошел спереди, но не помог, а наступил на руку, очень больно. Гаузе руку подобрал под себя и упал головой вперед. Дальше он не помнил.

## 5

Петру Гаузе казалось, что он спал, только не выспался. И спина закоченела.

Лежал он на нарах, как на вагонной полке.

Было в том вагоне полутемно, Гаузе развернулся из эмбрионального положения, начал елозить спиной по нарам, чтобы спина отошла, и тут понял, что над ним вторые нары и там кто-то есть.

Тот «кто-то» услышал шевеление Гаузе, заскрипел досками — сверху свесились сапоги. Блестящие, со шпорами, съехали вниз, встали у головы Гаузе, и оказалось, что выше сапог — серые кальсоны.

Спустился седоусый старик, крепкий еще. Поверх кальсон поношенный китель.

— Где глаз-то потерял? — спросил он у Петра Гаузе.

— Доброе утро, — сказал Петр Гаузе, человек воспитанный. — Какой глаз вы имеете в виду?

Однако ему только казалось, что он воспитанно разговаривает. На самом деле болтал неразборчиво: рот разбит, язык великоват. Пощупал ладонью лицо — в самом деле, один глаз заплыл, щекой подперт. Догадался:

— Это меня потом били, а я не заметил.

— Бывает. Ты кто будешь?

«Глазок» в двери отодвинулся, оттуда голос:

— П-234 ожидает суда. За побег и экономическую диверсию.

— Ах ты, заботники, — сказал старик, поднялся, к двери подошел, достал из кальсон гвоздь, заклинил им глазок.

Вернулся, спросил:

— Далеко уйти успел?

— Я не ушел, а пришел, — сказал Гаузе. — Все документы утопил и заблудился.

— А номер спорол? Они за это очень серчают.

— Я нашел мертвого человека, на шпалах. С него ватник снял.

— Главное, — сказал старик, — не поддавайся безумию. Я вот сколько лет не поддаюсь?

Сыро, темно, холодно, по стене пауки бегают, окошко трубой под углом вверх уходит. Сколько же лет? Но спросить неудобно, нетактично. Он вместо этого так спросил:

— Где вы чистите сапоги?

— А их чистить не надо. Это личный подарок председателя реввоенсовета товарища Троцкого. Их без ног снять невозможно.

Ну кто из них поддался безумию?

— Где мы находимся? — спросил Гаузе. — Мне многое непонятно. Почему я подвергся избиению и получил повестку? Почему мне никто не верит?

— Повестку покажи, — сказал старик.

Поглядел на бумажку.

— Зря расписался, — сказал он. — Теперь-то уж точно закатают. Тебе сколько оставалось?

— Я, понимаете, по тайге шел, мамонта искал...

— Я тоже бегал, — сказал старик. — Восемь раз бегал.

— Это же недоразумение. Я ниоткуда не убегал. Я сюда случайно пришел. Зачем мне убегать?

— Ну что ж, стой на своем, — сказал старик. — Имеешь право.

Он пошел в угол, там стоял сосуд под крышкой. Старик спустил кальсоны, сел на сосуд. Гаузе отвернулся, чтобы не показаться невежливым. А старик рассуждал:

— Бегство есть бессмысленное действие, но все мы — человеки бессмысленны. Здесь особенно...

Дверь заскрипела, а старик закричал:

— Рано к нам еще!

В камеру вошел солдат с ключами, за ним — неопределенного возраста молодой человек в белом халате с чемоданчиком в руке, за ним — женщина. Врачи?

— Темно, — сказал молодой человек.

Солдат выглянул в коридор и крикнул:

— Сидоров, дай свет!

Лампочка под потолком, голая, желтая, мигнула, вспыхнула — глазам больно.

Мужчина в халате был хоть и молод, но молодость серая, без свежего воздуха, лицо одутловатое, мышцы вялые. А женщина непонятна. В белом платке, завязанном как на косьбе, закрывая лоб, чтобы не обгорел на солнце. Щеки впалые, нос прямой, глаза к полу.

Старик поднялся с судна, застегивая кальсоны.

— По чью душу?

Никто не ответил, никто на него не смотрел, на Петра Гаузе тоже никто не смотрел.

Два солдата кресло внесли. Потертое, сиденье продавлено, пружины наружу. Зубоврачебное кресло. С ручек болтаются, к полу, ремни.

Потом столик внесли, поджарый, скрипучий. Женщина, не поднимая глаз, подобрала с полу чемоданчик, стала раскладывать на столике инструменты. Зубы лечить будут.

— Садись, — сказал молодой человек старику.

— Не пойду, — сказал старик. — Не имеете права.

Солдат старика толкнул. Только старик не шелохнулся.

— Бери его!

Навалились на старика вчетвером. Пошло хрипение, вздохи, ругань и даже визг; старик кусался, норовил задеть солдат шпорами, как петух в драке.

Гаузе хотел вскочить — и головой об нары!

— Отпустите товарища, он сам сядет!

Старик извернулся — шпорой достал до Гаузе. Больно. С продранных джинсов грязь посыпалась.

Гаузе почувствовал обиду, ноги подобрал. Сколько раз говорил себе: «Не вмешивайся, без тебя разберутся».

Разбирались.

Старика скрутили, посадили в кресло, пристегнули ремнями, пыхтели, матерились, радовались победе.

Молодой человек медленно пошел вокруг. Словно высматривал, с какой стороны у старика рот. Потом догадался: спереди, и сказал:

— Крепите.

Солдаты примотали голову старика к высокой спинке, железами со скрипом развели челюсти. Готово.

— Полина, — сказал молодой доктор, — щипцы.

Женщина, проходя рядом с Гаузе, кинула на него равнодушный взгляд. Гаузе вспомнил, что он отвратителен и страшен. Гадок. Отвернулся.

Старик рычал, выл, звякал металл — инструменты о столик.

Гаузе чувствовал отвращение сродни дурноте. Варварство. Тебя, Гаузе, приняли за беглеца. Отсюда же. Объект закрытый. Может, лагерь? Может, этот старик с усами — уголовник, убийца, и ты, Гаузе, ничего не подозревая, провел ночь вдвоем с ним. А может, диссидент? А может, власовец. Нет, должны разобраться. Прошли времена беззакония, канули в прошлое.

Старик выл, инструменты звенели, молодой доктор тяжело дышал. Гаузе бросил взгляд на старика. Любопытство — ходят же смотреть на зверскую казнь. В журнале от фотографии расстрела не отвернутся.

Лицо старика в крови, усы в крови. Бьется старик, хрипит, а в дверях — товарищ полковник. Весь из шариков, наблюдает. Встретил взгляд Петра Гаузе, прямым ходом к нему, присел на край нар, словно в гости заглянул.

— Как тебе у нас? — шепнул.

— Что происходит? Куда я попал?

Полковник щупал ткань джинсов.

— Товарищ полковник...

Полковник пальцем помахал перед носом, шепнул Гаузе на ухо, дружески:

— Я тебе, падло, не товарищ, тамбовский волк тебе товарищ. Так, может, ты вовсе и не П-234?

— Вот именно.

Старик завопил, полковник поморщился.

— Гаузе, говоришь?

— Гаузе, Петр Петрович.

— Дурак ты, что ватник снял. Теперь ты — П-234, навесим тебе еще одну десятку, помяни мое слово. Иного выхода нам отчетность не позволяет. Если тебя не будет, на что мы П-234 спишем?

Звяк — зуб об алюминиевую тарелку.

— Коренные рвать? — спросил молодой доктор.

Полковник легко вскочил с нар, подбежал, заглянул в рот старику.

— Оставляй. Пускай побалуется. Мы не изверги.

Старик обмяк в кресле. Кровь струилась по серой рубашке, по кителю, на кальсоны, на сапоги.

Полковник вытащил из кармана синих галифе плоскую фляжку. Подошел к молодому доктору, тот голову быстро запрокинул, ему в горло из фляжки было налито. Потом полковник к женщине подошел. Та отвернулась.

— Полина, за службу, — сказал полковник. — Прими.

Пожал плечами, поглядел на Гаузе, словно хотел и ему предложить, но передумал, спрятал фляжку и пошел вон.

Солдаты наклонили кресло, свалили старика на пол. Женщина собрала инструменты со столика в чемоданчик. Отдельно унесла тарелку с зубами. Солдаты остальное унесли. Старик лежал, открыв рот — а зубов нет. Ни одного — только черные десны.

## 6

В полдень принесли две миски с баландой. Откуда-то слово вспомнилось. Старик мычал, страдал. Может, ему теперь челюсти вставят?

— Вам челюсть вставят?

Старик головой покачал, взял свою миску, всосал жижу беззубым ртом, потом пальцами ошметки капусты в рот заложил, поглубже затолкал, сглотнул. Что-то сказал, а что — непонятно.

Старик вытер сапоги рукавом рубахи, добрел до стенки, стал в нее отстукивать. Потом послушал, что отвечают.

Но тут пришел солдат, позвал:

— П-234. На суд.

Старик от стучания отвлекся, хлопнул Гаузе по спине: иди, мол.

По обе стороны коридора запертые двери. Одинаковые. В коридоре сыро, голые лампочки кое-где.

Солдат провел Гаузе по узкой лестнице, по коридору — почище. Там, за решеткой, второй солдат ждал.

— Повестка есть? — спросил.

Гаузе послушно показал ему повестку.

— А фотография? — спросил солдат.

— Не было, — сказал Гаузе.

— Тогда иди фотографироваться. А то дальше не пустят.

Завели Гаузе в маленькую комнату. Там стоял аппарат на ногах, большой, старинный. Старый фотограф вышел из-за занавески, замахал руками:

— Нет! Нет, ателье закрыто!

— Надо, — сказал солдат. — Суд ждет.

Старичок убежал за ширму, вынес оттуда помазок, кусок мыла, горячую воду и стал Гаузе брить.

Солдат стоял в дверях, курил, отчего было такое шевеление в душе, что помереть хотелось. Гаузе отработанный дым втягивал ноздрями — со всей комнатки дым к нему тянулся. Покурил.

Старичок брил и все спрашивал:

— Не беспокоит?

Гаузе не отвечал. Гаузе думал. Потом спросил:

— Вы давно здесь?

— Ах, что вы, — сказал фотограф. — Разве можно?

Он унес парикмахерские инструменты, прибежал с коробкой красок. Пальцами по щекам — румянец размазал, голубым под глазами...

— Вы будете у меня интеллигентный человек.

Белилами — лоб. Замер. Спросил:

— Усы делаем?

Солдат подошел, поглядел.

— Гитлеровские?

— Можно гитлеровские. Тогда суд строже станет.

— Зачем же мне гитлеровские? — спросил Гаузе. — Я без усов обойдусь.

— Делай гитлеровские, — сказал солдат.

Старичок — чирк-чирк под носом. Гаузе уже знал, что у него гитлеровские усы. Конечно, суду не понравятся такие усы. А старичок уже чуб на лоб начесывает, салом примазывает.

— Гадок? — спросил у солдата.

— Гадок, — сказал солдат. — Фотографируй.

Гаузе бы поднять руку, стереть усы и чуб, да рука не поднимается. В общем, все равно, это же скоро кончится.

Старичок нырнул под черное покрывало. Оттуда:

— Улыбайтесь!

Из объектива — стекло в сторонку — вылетела птичка, пискнула, спряталась.

— Всё! Отличные кадры!

Старичок засунул руку сверху в ящик аппарата. Вытащил фотографии.

Гаузе поглядел.

Фотографии были Гитлера. В парадной ферме, с Железным крестом на груди. Совсем на Гаузе не похожи.

— Это не мои фотографии.

— Ах, какая разница, — сказал фотограф. — Других мы не делаем.

Пошли они дальше. Через холл, по широкой лестнице. В большой зал.

Стол вдоль стены. За столом полковник сидит. Капитан Левкой. И еще один лейтенант.

Гаузе поставили у другой стены. Два солдата по обе стороны.

Офицер с Левкоем в шахматы играли. Полковник новый пакет надувал, целенький.

— Привели, — сказал солдат. — Вот повестка. И фотографии.

Офицеры стали фотографии разглядывать. Разглядывают, потом на Гаузе смотрят, сравнивают.

— Он, — сказал наконец полковник. — Фашист номер один.

— Гитлер, — сказал Левкой. — Никакой ему пощады.

— Никакой пощады, — сказал второй офицер. — Твой ход, Левкой.

Полковник отложил в сторону фотографии и повестку.

— Читай дело, — сказал он солдату.

Солдат тот вышел из стены. С папкой в руке. На папке большими буквами: «ДЕЛО».

Прочел:

— Слушается дело Сидорова Семена Ивановича. Он же Адольф Гитлер. Год рождения не установлен. Осужден в тысяча девятьсот сорок пятом году за укрытие своего прошлого и распространение порочащих слухов, по статье 58-а с конфискацией имущества и поражением в правах.

— Сколько ему сначала дали? — спросил полковник.

— Сначала ему смертная казнь через повешение пошла, потом помиловали. Двадцать пять.

— Я сорокового года рождения, — сказал Гаузе.

— Молчи, голубчик, не перебивай, — сказал полковник. — По тебе видно, что ты не старый. Не волнуйся, Адольф. Мы же тебя теперь за побег судим. Мы не мстители. Мы — товарищеская чрезвычайная тройка, понимать нужно.

— Но мне-то можно сказать? Ведь побега не было.

— Правильно, — сказал Левкой. — И быть не могло. От нас не бегают.

Второй офицер достал бутерброд, стал жевать, а Левкой сказал:

— Еще попрошу ему десять суток прибавить карцера. Он меня за палец укусил. Сопротивлялся при аресте.

— Я не сопротивлялся.

— Молчать!

Левкой палец поднял, всем показал. Палец был гладкий, некусаный, белый. Полковник покачал головой и сказал Петру Гаузе:

— Стыдно-то как. Людей за пальцы кусать. А об инфекции ты подумал? А

— ли нарывать будет?

Левкой достал из кителя носовой платок, стал палец заворачивать.

— А за геноцид ему прибавим? — спросил второй офицер.

— Кровь за кровь, — согласился полковник. — Смерть за смерть. Еще пять суток. А теперь ты нам расскажи, что в Москве нового? Что в театрах? Как Уланова, пляшет еще?

— Подождите, товарищи, — возмутился Гаузе. — Я буду жаловаться. Вы совершенно невинного человека хватаете, судите...

— Увидите эту фашистскую сволочь! — взмолился Левкой. — А то я его собственными руками растерзаю.

— Да, — вздохнул полковник. — Придется увести. А ведь такой интересный разговор завязался.

И увели Гаузе. По дороге обратно он усы стер и хохол поправил.

И вернулся в камеру почти нормальный, только бритый.

## 7

— Чего? — спросил беззубый старик.

— Десять лет прибавили, — сказал Гаузе. — И еще пятнадцать суток карцера. Под Гитлера гримировали.

— Многих гримируют, — прошамкал старик. — Только не похоже.

— Эй, Василий! — раздалось из-за окна, сверху.

— Здесь я!

— Держи.

По наклонной трубе — от окна вниз — пакет бумажный.

Старик в него вцепился, развернул. А там две челюсти. С железными зубами. Сверкают.

Вставил в рот, пощелкал. Хорошо.

— Хорошо? — спросили сверху.

— Хорошо? — сказал старик.

Оскалился на Гаузе.

— Хорошо?

— Хорошо.

— Три бы пайки сожрал.

А тут стук в дверь. Официальный.

— Войдите, — сказал Гаузе.

Полковник, Левкой с шахматной доской под мышкой, второй офицер с папкой.

За ними стол принесли, стулья. Портрет в золотой раме.

Чей портрет? Сталина.

Все это в камере расставили.

Товарищеская чрезвычайная тройка расселась.

Офицеры сразу шахматы раскинули. А шахматы у них к доске приклеены. Навечно.

— Ты что здесь делаешь? — спросил полковник у Гаузе. — Мы же тебя уже осудили.

— Я здесь живу, — сказал Гаузе.

— Ну тогда оставайся. Смотри, как мы расправляемся с врагами народа. Читай, солдат!

Солдат папку у офицера взял. Раскрыл.

— Слушается дело Чапаева Василия Ивановича, год рождения не установлен. Осужден в тысяча девятьсот тридцать восьмом году за связь с врагами народа, измену Родине и особо тяжкие преступления по статье 58. Приговорен к двадцати пяти годам заключения. За неоднократные побеги и полную безнадежность исправления 18 ноября 1973 года приговорен к смертной казни, вторично приговорен к смертной казни в следующем году за убийство секретного сотрудника администрации лагеря. Казнь не приведена в исполнение.

— Хватит, — сказал полковник.

«Вот кому Троцкий сапоги вручал, — догадался Гаузе. — Чапаев. Герой Гражданской войны».

— Это тот самый Чапаев? — спросил Гаузе у полковника.

— Мы других не держим, — сказал полковник. — И не мешай, а то и тебя приговорим.

— Но он же в реке Урал утонул. Я в кино видел.

— Молчи, Гитлер, — сказал Левкой. — По тебе тоже веревка плачет.

А солдаты снова зубоврачебное кресло тащат.

— Что перед смертью нам скажешь? — спросил полковник. — Скажи, только покороче.

Старик только головой взбрыкнул.

— Где Морозов? — рявкнул Левкой. — Где доктор? Кто будет нам смерть утверждать?

— Василий Иванович! — закричал в сердцах Петр Гаузе. — Вся наша страна любит и помнит вас! Никто не забыт, ничто не забыто! У нас в глазах стоит ваша героическая гибель в реке Урал. Пионерские дружины и колхозы названы вашим именем. Память о вас не сотрется в памяти народной.

Из этой речи можно заключить, что Петр Гаузе, человек прямой и честный, сущий русак, воспитан был в комсомоле и любил наблюдать телевизор.

— Ты слышишь, враг народа, что о тебе говорят? — спросил полковник. — А ведь врать не станут. О тебе, понимаешь, пионерские дружины названы, и даже колхозы, а ты побегами занимаешься. Ну неужели тебе не стыдно? Пожилой человек.

— И за палец меня укусил, — сказал капитан Левкой.

А второй офицер быстренько стащил с себя китель, набросил на плечи белый халат — оказался доктором Морозовым. Как же его Гаузе на своем собственном процессе не узнал?!

Солдаты пристегнули Чапаева ремнями, только усами он похож на легендарного героя.

Капитан Левкой с трудом оторвал ладью с шахматной доски, протянул привязанному герою.

— Пожуй, — говорит. — Перед смертью побалуй свой желудок.

— Послушайте, — сказал Гаузе, — несмотря на неправильность того, что имеет место, скажите, что вы собираетесь делать?

— Приводить в исполнение, — сказал доктор Морозов. — Приговор приводить.

А сам градусник достал и старику — под мышку. Тут же вынул и кивнул начальству:

— Можно начинать, пульс в норме, давление повышенное.

— Теперь тебе не уйти от справедливой кары, — сказал полковник. — Гляди. Крепкий.

Он развернул пластиковый пакет, попыжился, надул его, как детский шар.

— Покайся перед народом, — сказал полковник. — Покайся, Чапай. Много тревог доставил ты органам. И никто тебе не поможет. Нет же у тебя зубов. Нету?

А старик все не каялся.

— А как казнить будут? — спросил Гаузе у доктора Морозова.

— Сейчас увидите, — ответил доктор. — Нелегко нам. Патронов нет, веревки кончились. Все приходится самим. Но лично товарищ полковник Бессонов нашел выход из положения. Настоящий руководитель, сталинского типа. Капитан индустрии.

Полковник собственноручно накинул пакет на голову старику Чапаеву, велел доктору Морозову подойти, шнурок у него из ботинка вытащил, начал пакет снизу к шее привязывать.

— Он же задохнется! — закричал Гаузе.

Тут капитан Левкой со всего маха сел толстым задом на Петра Гаузе, пришпилил его к нарам.

— Очень дешево и экономично, — сказал доктор Морозов. — Вы не видели моего термометра? Мне надо смерть констатировать.

— Ну гляди же, враг народа, на торжество твоих победителей! — сказал полковник.

Но тут, вместо того чтобы глаза выпучить и задохнуться в мучениях, старик Чапаев сильно воздух в себя втянул, пакет к губам прилип, все засмеялись на тщету усилий жизни перед надвигающейся смертью. А старик железными зубами шварк-шварк — в пластике дыра!

— Зубы! — закричал полковник. — Вижу зубы. Железные! Кто ему дал зубы? Последний пакет погубили! Всюду враги народа! Всюду наймиты фашистско-троцкистской разведки. Левкой, погляди, у П-234 есть зубы или он их Чапаеву одолжил?

Развернули Петру Гаузе рот, поглядели. А у него зубы на месте.

— Попрошу снять с меня орудие казни, так как она не состоялась. И еще дайте мне бумагу и карандаш, чтобы писать жалобу в Президиум Верховного Совета, — сказал старик.

— Снять пакет! — полковник ссутулился, постарел. — Назначить доследование. А тебя, Чапаев, мы все равно казним. Вот пришлют нам винтовки и веревки, обязательно казним.

Полковник быстро вышел. Остальные за ним. Только капитан Левкой задержался. Протянул Петру Гаузе листочек бумаги. Шевельнул носом — и нет капитана.

На листочке маленькими косыми буквами:

*«Министру государственной безопасности и внутренних дел товарищу Л.П. Берия и лично товарищу Сталину от капитана госбезопасности Л.Е. Левкоя.*

Заявление

Довожу до сведения присланного Вами для проверки состояния спецособлага № X под видом заключенного № 232 сотрудника, что начальник лагеря полковник Бессонов замечен мною в связи с врагами народа, а также нарушает режим и присваивает довольствие комсостава, а партийных собраний не проводилось более года».

— Странное письмо, — сказал Гаузе. — Почему мне?

— А потому что ты странный человек, — ответил Чапаев. — Двадцать пять лет ревизии не было. Есть мнение, что ты — ревизор.

Старик кейфовал на диване, нежился после победы.

— Что же мне делать?

— Подшей к делу и жди.

Тут старик достал из щели за нарами синюю папочку, на которой было печатными буквами выведено:

«ДЕЛО

полковника МГБ Бессонова Терентия Васильевича.

Начато 29 августа 1976 года. Закончено расстрелом...»

Дата последняя еще не проставлена. А дата начала — сегодняшняя.

Ну и старик. Уже успел. Может, они с Левкоем заодно? Кто их тут всех разберет?

Махнул Гаузе мысленно рукой, подшил в дело жалобу на начальника лагеря и спросил:

— Вы говорите, Василий Иванович, что здесь никто двадцать пять лет не проверял. Как это понимать?

— А так и понимай. У нас лагерь специальный. Для особо важных преступников, которых следует забыть. К нам и до пятьдесят третьего года редко начальство заглядывало. А с тех пор никто и не приезжал. Даже не знаю — доходят ли до товарища Вышинского и лично товарища Сталина мои бесконечные жалобы.

— Погодите! — воскликнул тут Гаузе. — Если к вам никто не приезжал, значит, о вас забыли!

— Нельзя забывать. Никто о нас не забывал. Просто усилили секретность, — сказал старик. — Так усилили, что птица без разрешения не пролетит.

— Нет, забыли, — упорствовал Гаузе. — Не может быть, чтобы патронов не привезли. Подумайте, Василий Иванович, — разве может быть, чтобы патронов не подвезли?

— С патронами ты меня уел. С патронами не объясню. А может, экономят?

— Неужели бы на вас пулю пожалели?

— Нет, на меня бы не пожалели. И все-таки, с чего бы им о нас забыть?

— Потому что времена изменились.

— Времена не меняются, — старик сказал. — Люди меняются, а времена не меняются.

— Сталин умер, Берию расстреляли. И как раз в пятьдесят третьем. Двадцать три года назад!

— Чего?

— Сталин, говорю...

— Врешь, — сказал старик. — Теперь-то я вижу, что ты и в самом деле — Гитлер, враг нашей Родины. Сталин никогда не умрет.

И как уж Гаузе старался, убеждал, но старик Чапаев был непреклонен.

— Потому что, — говорил он, — товарищ Сталин — мой друг и защитник.

И рассказал полководец Чапаев свою биографию.

## 8

— Ранили меня на реке Урал белые гвардейцы и взяли в плен. А я в исподнем был. Спрашивают: «Хочешь ли ты смерть принять или будешь нам честно служить?» А я отвечаю: «Как я есть мобилизованный насильно в Красную Армию крестьянин, то мне все равно, кому служить». Такова была моя военная хитрость. Ну, перехитрил я их, дослужил у них до конца Гражданской, потерпел вместе с ними поражение, но скрылся от наказания, а поселился на хуторе, у одной вдовы, и жил спокойно, даже в колхоз вступил. Пошел как-то в кино, а там картину мне показывают про подвиги товарища Чапаева. Понял — про меня. Рассказал я жене об этом событии, а она мне говорит: «Объявись, может, пенсию выдадут». Сообщил я о себе куда надо, проверили мою биографию, стали думать, что со мной делать, если я героически погиб много лет назад. Привезли меня в конце концов к товарищу Сталину. Принял меня вождь и говорит: «Не знаю, что с тобой делать. Столько мы с тобой вместе боевых верст прошли, Царицын защищали, Колчака разбили, из одного котелка щи хлебали, а вот теперь не могу тебя в живых оставить». Пригорюнился вождь, а я его спрашиваю: «Почему, Сосо, не можешь?» А он отвечает: «Не могу я народ обмануть. Народ полагает, что ты погиб геройской смертью, а не нанялся врагам в наймиты». «Может, — спрашиваю, — отправить меня обратно в деревню?» «Нет, — говорит, — там уже многие знали. Пришлось уже твою жену ликвидировать и других раскулачить. Нет, убивать я тебя не могу, хоть и настаивает на этом моя государственная безопасность. Лучше я, в память о походах, дам тебе вечный срок. Живи». Вот так, выпили мы с вождем, поблагодарил я его за милость и уехал сюда. А ты говоришь — умер. Нет, с такой мудростью не умрешь.

— Так чего же вы тогда бунтуете? — Гаузе спросил. — Покорялись бы!

— Вот тут ты не понимаешь, — Чапаев возразил. — Не знает наш вождь, что вдали от него подручные творят. Скрывают от него правду. Сталин только изолировать хотел — а им бы со свету сжить. И ты меня не сбивай, потому что и у меня идеалы есть. Дойду до Сталина и всю правду ему расскажу. А если, по твоей вражеской версии, Сталин умер — к кому я пойду? Вот достроим мы железную дорогу на помощь китайской революции, я тогда выйду по амнистии и все Сталину расскажу.

— Не нужно уже помогать китайской революции, — сказал печально Гаузе, хоть и не рассчитывал на понимание. — Потому что власть в Китае захватила враждебная нам клика Мао Цзэдуна.

Старик и возражать не стал такой крамоле и идиотству. Только подошел к двери и крикнул в задвижку:

— Возьмите от меня врага народа, сущего Гитлера, с которым я оставаться не могу — задушу его ненароком. Как Бухарина задушил, чтобы он на честных зэков начальству не стучал.

## 9

Отделили Гаузе от честного полководца, повели по коридору. Солдат спросил его:

— Ну куда тебя, врага, подселить?

Открыл дверь соседнюю. Там сидит за столом человек в железной маске, забрало маленькое приоткрыл, хлеб туда крошками пихает.

— Принимайте врага, — солдат сказал. — Чапаев с ним жить не хочет.

— Почему же? — человек в железной маске спросил. Голос глухой, внутри маски звуки блуждают, с трудом наружу выбираются.

— А он вредные вещи высказывает. Будто товарищ Сталин дуба дал, а товарища Берию расстреляли.

— Расстреляли? Нет, такого я не приму. Веди дальше.

А в коридоре уже полковник Бессонов стоит.

— Что случилось? — спрашивает.

Объяснил солдат.

— Не знаю, что с тобой делать. Клевету распространяешь, надо бы тебя засудить, да суд на перерыв удалился. А что у тебя за папочка в руке?

— Эта?

Гаузе и забыл, что папку с делом Бессонова с собой из камеры унес.

Взял папочку полковник Бессонов, прочел заявление, вернул папку Гаузе и говорит:

— Не верь ты им, П-234. Собрание мы в прошлом месяце проводили. Левкой на него сам не пришел. Значит, говоришь, Сталина с Берией расстреляли, а о нас забыли?

— Сталин сам умер.

Полковник к ушку Гаузе наклонился и прошептал:

— Очень даже допускаю. Давно пора.

Вслух как завопит:

— За такую клевету мы тебя в живых не оставим! Ты на что руку поднял? Ты кого обидел? Ты в лице наших вождей всех рядовых сотрудников безопасности обидел!.. Что же мне с тобой сделать?

— Я лучше уйду от вас, — сказал Гаузе.

— Нет, уйти ты не уйдешь, отсюда никто еще не уходил. Мы лучше тебя психом объявим. В госпиталь изолируем. А ну, охрана, выкинуть из больницы всех симулянтов!

— Но нет уже лагерей! — возмутился Гаузе. — Вы не имеете права!

— Лагерей нет, говоришь? — удивился Бессонов. — А наш как же?

— Ваш — это не лагерь. Это... мамонт! По ошибке существует. Как только узнают, вас разгонят.

— Слушай, П-234, а Министерство госбезопасности есть?

— Оно теперь называется Комитетом, и в нем сидят настоящие ленинцы.

— Есть, значит?

— Но не имеет ничего общего...

— Ну, тогда все в порядке. Скоро понадобимся. Ведите психа в больницу. Слов его всерьез не принимать!

## 10

В больнице у Гаузе свой закуток, фанеркой от пустой палаты отгорожен. На койке одеяло, райская жизнь, отдых для измученной души. Только окно с решеткой.

Доктор Морозов знакомый, зубы рвет, градусники ставит.

— Здравствуйте, — говорит. — На лекарства не рассчитывайте. Нет для вас лекарств. К тому же нам приказано уморить тебя. Так что готовься. И распишись заранее. Еще бумажка.

«Справка.

Дана в том, что заключенный Гаузе Петр Петрович скончался от диабета в лагерной больнице 1 сентября 1976 года.

*Врач больницы,*

*доктор медицинских наук Павел Морозов».*

— Не буду расписываться, — сказал Гаузе.

— Придется, — сказал доктор.

— Ну ладно, — сказал Гаузе.

И на бумажке, сверху, как резолюцию, наложил:

«Умирать отказываюсь. П. Гаузе».

Доктор Морозов расстроился.

— Как же я такую справку людям покажу? Такую справку показать нельзя.

— И не показывайте, — сказал Гаузе. — А почему это мне ваша фамилия и имя где-то встречались?

— А я — человек известный.

— Доктор медицинских наук?

— Это — должность такая. А известен я с иной стороны. Я на папу своего написал. А потом меня кулачье убило. И погиб я героической смертью.

— Павлик! — сказал Гаузе. — Разумеется. Вам памятник на Красной Пресне стоит, к вам пионеров водят.

— Пускай водят, — сказал Павлик. — Вы только резолюцию свою со справки снимите, не могу же я с такой резолюцией вас диабетом уморить.

— Так, значит, и вас не убили?

— Убили, убили. Их как прижали, они во всем и признались. А со мной что делать? Пришлось меня изолировать, чтобы не портить картину классовой борьбы. Только вы не думайте, что я здесь заключенный! Я уже давно выслужился. Чин имею, докторскую диссертацию по медицине получил лично от товарища Бессонова. Скоро обещали академиком избрать.

— Врет он все, — из-за фанерной перегородки донеслось. — Не быть ему академиком. Публикаций мало.

Тут заглянула знакомая — красивая женщина, что доктору ассистировала. Глаза у нее зеленые оказались, зрачок поперек, как у кошки. Злая.

— Там комиссары пришли, — говорит. — Принимай.

За открытой в коридор дверью шли вереницей старики. Двадцать шесть стариков насчитал Гаузе.

— Ну, я пошел, — сказал бывший пионер Павлик Морозов. — Бакинские комиссары пришли, будут от меня лекарств требовать. А откуда я им лекарств возьму?

Не стал Гаузе уточнять, как же комиссары в живых остались. А почему бы им и не остаться?

Опустел закуток. Гаузе решил, что пора ему в борьбу включаться. Ни минуты нельзя даром терять. Некоторые уже его бояться начали. Вот и начнем: постучал он в фанерную загородку. Там кто-то лежит. Больной, но живая душа.

— Вы меня слышите? — спросил.

— Слышу.

— Сталин умер, — сказал Гаузе. — Все лагеря закрыты.

— Ну уж и все, — ответил голос. — Поверить трудно.

— Ваш лагерь — историческая ошибка. Ее нужно исправить.

— Нет, — сказали из-за фанерки. — Нельзя нашей стране без лагерей. Страха не будет. Погибнет без лагерей советская власть.

— В нашей стране восстановлены демократические права граждан. О них печется лично товарищ Брежнев. А о вас забыли. Надо сообщить. Помогите мне. Виновные будут наказаны.

— А кто же виновный?

— Хотя бы начальник лагеря Бессонов, который при мне пытался варварским способом убить героя Гражданской войны товарища Чапаева.

— Ага, еще не помиловал, а уже наказывать собираешься. Вот твоя российская логика. Одних освободить, других засадить. Нет, не выйдет.

Отогнулась фанерка. Видит Гаузе — по ту сторону стоит прибранная койка, на ней — в полном обмундировании, в сапогах лежит полковник Бессонов.

— Вот я тебя и проверил. Псих ты и есть.

Вскочил он на кровать Гаузе и стал его ногами топтать. Давил в болезненные места так, что завопил Петр Гаузе.

Прибежала тут медсестра Полина с зелеными глазами и метнула в начальника лагеря полковника МГБ Бессонова стеклянной кружкой от клизмы. Кружка вдребезги. Бакинские комиссары, что в дверях толпились, — в слезы: только они надеялись, что им клизму поставят, а нет клизмы. Полковник ушел.

Так Гаузе начал в госпитале жить.

## 11

Ночью в госпитале темно, на окне решетка. Петру Гаузе не спится, голодно, курить хочется. Там, за лесом, люди в театры ходят, БАМ строят, озеро Байкал от загрязнения спасают — свобода! А здесь концентрационный лагерь-Китеж досасывает кровь у невинных жертв — единственное родимое пятно беззакония на всех просторах Родины. И долг Петра Гаузе, коренного русака, сообщить, пресечь и прекратить.

Присел Гаузе к столику, нашел там свою справку о смерти, забытую Павликом Морозовым, написал на ней при свете луны листовку:

«Товарищи заключенные! Вас обманывают! Сталин умер четверть века назад! Враг народа Берия расстрелян! Все остальные заключенные реабилитированы и вернулись к производительному труду! Требуйте немедленных контактов с областными и партийными организациями! Не сдавайтесь в борьбе за ленинские принципы, восстановленные Центральным комитетом!»

Убедительная листовка. Острая.

Гаузе листовку в комок свернул и в окошко между решетками запустил.

Комочек под луной белым мотыльком пролетел, только к земле приблизился, как из-за барака выскочил человек, Луна в погонах отражается. Полковник Бессонов не спит, бдит. Подхватил листочек, сжевал, кулаком окошку погрозил. И все тихо.

— Ничего, — сказал Гаузе. — Мы — коренные русаки, народ твердый.

Только он в кроватку нырнул, как в окне что-то показалось. Светлое.

Разделилось светлое на полоски, проникло сквозь решетку, собралось воедино.

Стоит в закуточке привидение.

Знакомый образ. В мундире генералиссимуса. С усами и орденами.

Товарищ Сталин. Полупрозрачный. Луна просвечивает.

Сказало привидение печальным голосом:

— Петр Петрович, не смущай мою державу. Учти, что ничего у меня не осталось, кроме убежища человеческих душ, которые скорбят по сильной руке и ждут моего возвращения, да этой территории. Ничего! Предупреждаю, руки прочь от моего лагеря! Во сне придушу.

— Нет, — говорит Гаузе, хоть и перепугался. — Это не материализм. Уйдите, пожалуйста. Вы меня своими дешевыми эффектами с пути не собьете. Что же, теперь прикажете всю жизнь здесь сидеть?

Но нет уже привидения — растворилось оно в темном воздухе, а в закуток дверь раскрылась — там Полина стоит.

— Ты с кем это беседовал?

— Со Сталиным. А вы что в таком виде?

Полина не ответила. Вид у нее грустный. Халат порван, на щеке царапина, волосы лохмами.

— Вас кто-нибудь обидел?

Достала Полина из стеклянного шкафчика йод, поморщилась, щеку вымазала. Сама сказала:

— Насиловали меня. Устала я от этого. Чуть я чем Бессонова обижу, начинают меня насиловать. Ну сколько это может продолжаться?

— Какое безобразие! — сказал Гаузе. — И это тоже будет учтено!

— Иди ты, — сказала Полина. — Как я есть лагерная блядь, то жаловаться некому. Спокойной ночи. Смешной ты все-таки.

И ушла.

## 12

Утром Петр Гаузе проснулся бодрый, голодный, к борьбе готовый.

Таких у нас не любят. Его бьешь, а он все борется.

За окном сирена. Лагерь поднимается.

Гаузе под конвоем в сортир сходил, утренней баланды похлебал. А там и снова сирена гудит, на работы заключенных созывает.

Гаузе — к окну, прижался к решетке, смотрит, какая жизнь там идет.

Народ из бараков на плац тянется, охранники ругаются, перекличка идет. Зэки пожилые, даже старые есть. В драных ватниках да в опорках.

Пора бы из лагеря выходить, но ждут.

Дождались.

Из большого дома капитан Левкой вышел. Носом повел, строгость во взгляде.

— Первый барак! — кричит. — На художественную самодеятельность оздоровительного характера становись!

Побежали старики и пожилые люди, строятся в каре.

— Пирамиду, посвященную справедливой борьбе китайского народа против гоминьдановских предателей и мирового империализма, строй!

И послушно лезут зэки друг другу на плечи, подставляют спины и колени, строят живую пирамиду, как на физкультурном празднике. Качается пирамида под студеным ветром, трудно.

— Наверху! — кричит Левкой. — Где держатель красного знамени?

Но нет никого наверху. Незавершенная пирамида. Потому что положено там стоять Сидорову, зэку № П-234, погибшему в лесу.

— В больнице он, — сказал кто-то.

И вот уже топот в коридоре — бежит солдат, хватает Гаузе.

— На торжественную пирамиду, бегом!

Привели Гаузе, в одних кальсонах, суют в руки красное знамя с пятью китайскими звездами, и лезет он послушно по старческим плечам, а его зэки подгоняют: скорей, сил больше нету!

Добрался Гаузе до вершины. Знамя развернул. Далеко внизу Левкой успокоился, радуется торжественному виду.

Гаузе покачивается, словно плывет по бурному морю, ветер знамя из рук рвет. И момент подходящий. И кричит бесстрашный Гаузе:

— Товарищи! Вас обманывают! В Китае власть захватила клика Мао Цзэдуна! Никакой поддержки клике! Вас обманывают...

Но рухнула пирамида, не выдержали старческие плечи. И с высоты грохнулся Петр Гаузе, держась за китайское знамя.

Левкой повелел:

— Бездельники, симулянты! Контры! Всех без горячего!

Зэки строятся, а Гаузе в больницу вернулся.

В закутке изменения. Бессонов пришел, сталинский портрет принес, на стенку приколотил.

— Ты ему в глаза гляди, — приказывает. — Может, стыдно станет.

— Нет такого человека, — Гаузе настаивает. — Памятники его сняли, города обратно переименовали, колхозы тоже.

— А Сталинград? — Бессонов спрашивает. — Что с ним?

— Волгоградом называется, — сказал Гаузе. — На всех картах.

— Значит, Волгоградская битва теперь? Ну и сволочь ты, П-234, но завираешься.

Махнул рукой, расстроился такому упорству. Ушел.

Вместо него другое явление: Полина. Красивая, только йодом шрам покрытый через всю щеку.

— Как тебя зовут? — спросила Полина.

— Петр Гаузе.

— А номер какой?

— Нет у меня номера. Теперь свобода. Все без номеров ходят.

— Не внушай иллюзий, — сказала Полина. — Ведь хочется верить.

— Вы верьте, обязательно верьте.

— Обидно разочаровываться. Хотя что мне — везде одинаково.

— Здесь у вас привидения ходят, — переменил тему Гаузе.

— Ага, я как-то видала, издали. Генерал какой-то. Наверно, из замученных. Одних генералов здесь штук сто замучили.

— Нет, не генерал. Сталин.

— Его сюда не сажали. Я бы узнала.

— Но ведь ходит.

— Нет, я бы узнала.

— Я его точно узнал. С погонами и с усами.

— Молчал бы ты лучше, Гаузе. И так тебя за Гитлера здесь держат. У них просто. Приговорят, в пакет, и задохнешься.

— Но они уже сомневаются. Я в них сомнение заронил.

— Глупый ты, Петя. А что с того, что Сталин помер? Они этого Сталина и в глаза не видели. Они сами по себе. И никто их не тронет.

— Как увидят, так тронут. Обязательно тронут.

— А так уж ты уверен, что никто про наш лагерь не знает?

— Я убежден в этом.

— А с кем он по телефону разговаривает?

— Нет у него телефона. Провод разрезан.

— А я слыхала.

Тут Павлик пришел, Полину отослал по делу. Был он взволнован, молоденький, а старичок.

— Вы уж простите, — сказал, — но, если ваши сведения правильные, как мне можно рассчитывать работу по специальности найти?

— Как доктору медицинских наук?

— Нет, — сказал Павлик. На кровать с краю присел, чтобы потише говорить. — Я писатель. И художник.

— И что же вы написали? Воспоминания?

Невзлюбил Гаузе Павлика. Что ты будешь делать? Не за его прошлое, а за зубы Чапаева.

— Я роман написал. И еще повесть. И несколько картин имею. Кроме того, из корней и сучков могу делать композиции. Я вам балерину Уланову покажу. Не отличите от настоящей.

Смылся Павлик, а тут уж и капитан Левкой в дверь лезет.

— Вы дали ход моему заявлению? А то я жду, а меня не вызывают. Это непорядок. Должны вы меня вызвать.

— Вызову, — сказал Гаузе. — Некогда сейчас. Вы бы мне помогли пока что отсюда уйти.

— Ни в коем случае! — испугался Левкой. — Это же нарушение.

— Тогда ждите.

— Жду. Надеюсь. Могу рассчитывать на место начальника лагеря? Кстати, должен вам сказать, что Бессонов держит под крылышком царского агента, провокатора из охранки.

— Кого же?

— Ах, не знаете?

Левкой улыбнулся, покачал перед носом Гаузе забинтованным пальцем.

— Вы тряпочку снимите, неудобно как-то.

Но Левкой не успел подчиниться — Павлик в дверь. Несет сооружение из корня. Напоминающее паука.

— Вот! — кричит. — Балерина Уланова. Похоже?

Тут он увидел капитана Левкоя. Оробел. Стал балерину за спину прятать.

— Ага, — сказал капитан. — Писатель! Художник! Где обещанное?

Но Павлик задом к двери — улизнул.

— Лови его! — Левкой за ним. Потом обернулся: — Вы, товарищ начальник, пошли со мной. Мы сейчас выследим его склад. Сейчас мы его выловим. Он туда побежал.

— А чего вы ищете? Куда он побежал?

— Он на склад побежал. Склад у него есть. Как кто в больнице помирает, он перед смертью у него на сохранение все самое дорогое берет. И куда-то складывает. Каждый раз обещает со мной делиться. И не делится. Понимаете, какая сволочь?!

Выбежали в коридор. Никаких следов Павлика. Сгинул.

— Сделаем, — сказал Левкой. — Обратите внимание.

Он встал на четвереньки.

— У меня, — нос к Гаузе повернул, — замечательный нюх. Я раньше розыскной собакой служил. В породе доберман-пинчер.

И побежали они по коридорам, все ниже под землю, по лестницам и закоулкам. Большой дом. Очень большой.

— Что тут раньше было?

— Сибирский граф один жил. Деньги на партию давал.

— А потом?

— Когда потом?

— После революции.

— Взяли графа.

Еще поворот. Дверь в стене притворенная. Подвал сводчатый. Под потолком люстра сверкает. Вещи свалены. Громадной грудой. Рядом Павлик Морозов, держит в руках балерину Уланову, дрожит.

— Попался, голубчик! — Левкой уже человеческое положение принял. — Что скажет про твое поведение товарищ из Москвы?

— Он будет ходатайствовать. Как за литератора.

— Отдавай духовные ценности!

— Это все мое. Это все мне завещано.

— Отойди. Инвентаризация настала. Откуда начнем? Говори, председатель комиссии.

И на Гаузе смотрит.

Гаузе любопытство разбирает.

— Давайте с рукописей начнем.

— Не погубите, все мое! Вот, глядите. — Павлик начальнику, Петру Гаузе, в руки тетрадку сует. — Я сам написал.

На обложке написано: «Евгений Онегин». И другим почерком: «Сочинение Павла Морозова».

Открыл тетрадку Гаузе — знакомые строчки, перу Пушкина принадлежат.

— Как это к вам попало? — спросил.

— Это я сам написал. Длинными ночами.

— Что-то знакомое, — сказал Левкой, — Где-то я это проходил. По-моему, в школе комсостава нам давали.

— Это Пушкин написал, — сказал Гаузе.

— В каком бараке?

— Пушкин умер.

— Ясное дело, умер, здесь все умирают. Никто отсюда живым еще не вышел.

— Вы меня не так поняли. Пушкин умер больше ста лет назад. И не в лагере.

— А где же? На воле?.. Впрочем, неважно. Значит, это уже напечатано?

— Давно напечатано. А как сюда попало?

— Неужели не поняли? Я же объяснял. Он перед смертью в больнице у людей все отбирал.

— Это я написал! — плакал Павлик Морозов. — Все, что здесь, я написал и сделал. Вот, глядите.

А Гаузе опечалился. Представил себе, как какой-то заключенный огрызком карандаша бессмертную пушкинскую поэму переписывал, чтобы человеческий облик не потерять.

А уже в руках другая тетрадка. И Левкой в ухо холодным носом тычет.

Такого произведения Гаузе еще не видал. «Роман» — написано. И две фамилии на первой страничке: «И. Бабель». И другим почерком: «П. Морозов».

— И он здесь погиб? — спросил Гаузе.

— А хороший писатель был? — спросил Левкой.

— Плохой, — поспешил с ответом Павлик. — Я за него исправления вносил. Евреев убирал.

Левкой быстренько самописку вытащил, свою фамилию вписал, морозовскую вычеркнул, бабелевскую и подавно.

— Как же смеете! — возмутился Павлик, а Левкой сказал: — Тебе еще останется.

Ах, Гаузе весь затрясся — тетрадка лежит, «Осип Мандельштам» на обложке. Поэт хороший, тоже, значит, здесь замученный. Стал Гаузе к тетрадке подбираться, а Левкой тем временем на картинах и рисунках всяких свой автограф ставит. Павлик за ним бегает, старается свою долю в бессмертии отстоять.

— А это что? А это что? А это что?

— Это неинтересно, это пустяк, это так себе...

Еще шаг до рукописи Мандельштама остался. Соавторы передрались, в углу возятся. Только Петр Гаузе руку к Мандельштаму протянул — видит: Павлик в уголке съежился, а в руке граната:

— Не подходи! — кричит. — Не нарушай мое авторское право, — а в другой руке «Евгением Онегиным» размахивает.

И понял Гаузе — не до стихов, хоть и бессмертных. Сейчас рванет граната... И он со всех ног из подвала. И по коридору.

А сзади взрыв!

Такой взрыв, что весь дом зашатался, камни со сводов подвальных посыпались. Бежит Гаузе — куда, сам не знает.

Занесло Гаузе в какой-то закут, дверь с петель взрывом сдернута.

## 13

— Кто здесь? — голос в темноте.

— Ах, если бы вы знали, сколько они всего погубили!

— Кто такие?

— Они наследство от умерших здесь делить стали.

— Жалко наследства, — сказал голос. Понятливый.

Хоть и темнота, кажется Гаузе, что он различает — сидит перед ним древний человек.

— Вы кто такой? — спросил.

— Я вечный заключенный, — голос ответил.

И такое Петру Гаузе поведал.

Родился этот вечный заключенный в древности, много за правду страдал, наконец попал он на Русь, когда ее татары покоряли. Стал он татар за бесчинства укорять, они его заковали лет на сто. А он все не умирает. Дожил до Ивана Грозного, стал ему правду говорить про тяжелое положение народа — и остальные годы правления этого царя тоже в темнице провел. И что странно: казни его не берут, голод не берет, пытки не домучивают. Такое ему от Бога задание: ходить по истории человечества, правду говорить. И сидеть за это. Долго ли, коротко ли, дожил этот старик по тюрьмам до двадцатого века. Тут его и выпустили по амнистии 1905 года и дали титул графа. Купил он себе большой дом в лесу, достроил, стал правду проповедовать и деньги большевикам на революцию ссужать. За что его и посадили вскорости. В семнадцатом году революция произошла, старика сразу же освободили, а потом вскоре и обратно посадили. В подвале того же дома, откуда он большевикам деньги на революцию ссужал. Вот и сидит. Ему теперь автоматически срок продлевают, да забыли, что он здесь. И жалко ему, что из-за этой забывчивости он не одну уж амнистию пропустил. Вот и попросил он Гаузе в конце своей исповеди:

— Как выйдешь наверх, скажи, что мне уж давно выходить пора. Наверно, несправедливости на свете не осталось, и помирать мне можно. А если осталась, то мне перерыв нужен для свободного обличения.

— Вот сам выберусь, — Гаузе сказал, — тут же и тебе помогу. Только сложность одна...

— Какая же?

— Не сажают у нас теперь за критику. В худшем случае высылают из пределов нашей страны.

— Ну, это еще не страшно, — сказал старик. — Я в другую страну пойду. Может, найду, где режим кровавый.

— В Чили, — подсказал Петр Гаузе. — Там такие люди нужны.

На том и договорились.

Прикрыл за собой Гаузе дверь, пошел дальше по подвалам, все старался путь обратно к древнему правдолюбцу запомнить. Только забыл вскоре. Совсем заблудился, как в лесу, слава богу, привидение Сталина встретилось.

— Я, — говорит Сталин, — тебя поджидаю. Хочу с тобой еще побеседовать. И еще один товарищ с такой же целью тебя ждет.

И пошел Гаузе вслед за привидением Сталина, тот впереди, как слабый источник света.

## 14

Старый знакомец — человек в железной маске — ждал их, по камере ходил. Камера не маленькая: кровать с матрацем, электрокамин в углу, стол письменный.

— Здравствуйте, — сказал, — товарищ Гаузе.

Сел Гаузе на стул. Железная Маска и Сталин с двух сторон встали.

— Мы вас пригласили побеседовать, — Сталин сказал. — Дошли до нас слухи, что вы здесь не случайно, а с секретным заданием.

— Закрывать лагерь намереваются, — сказала Железная Маска.

— Я приму все меры, — Гаузе сказал.

— Вот этого делать и не следует, — Сталин сказал. — Неразумно. Мы еще пригодимся, слово вам даю.

— Простите, — сказал Гаузе, — с кем честь имею? А то мне вашего лица не видно.

— Берия он, — сказал Сталин. — Лаврентий Павлович. Вы с ним по возрасту не встречались, а жаль. Душевный человек, мой сатрап. Убийца.

— Так вот вы какой! — сказал Гаузе. — Скрываетесь?

— Приходится, — сказал Берия. — Иногда глаз чешется, страшное дело. А не почешешь. А вы, значит, Гаузе. Как же, как же, вашего папеньку мы в тридцать втором из партии вычистили за сокрытие белогвардейского прошлого его мамаши. А вашу тетушку Ирину мы в тридцать седьмом расстреляли за связь со своим мужем, осужденным по пятьдесят восьмой. Я правильно вашу биографию излагаю?

Гаузе только отмахнулся. Чего сейчас старое ворошить. Главнее прекратить все.

— У вас, — сказал он, — никакой надежды. Я все равно вас разоблачу. Лучше сдавайтесь. Ну чего вы ждете?

— Ждем, — сказал Берия. — Ждем и надеемся. Вот, видишь?

Из-под кровати белый телефон вытащил.

Трубку снял. Дал Гаузе послушать.

А там гудок длинный, потом женский механический голос говорит:

— Ждите ответа... Ждите ответа... Ждите ответа...

— Вот и ждем, — сказал призрак Сталина.

— Не дождетесь, — сказал Гаузе. — Ваш телефон с вокзальной справочной соединен.

Засмеялись бывшие вожди. Потом Сталин сказал:

— А ты отсюда живым не выйдешь, потому что от таких, как ты, бесстрашных нам большое беспокойство.

Сказал так, и набросились они на Гаузе.

Ну, с призраком несложно справиться. У него хватка слабая. Берия посложнее противник, только от возраста и долгого сидения силу потерял. Но все-таки двое на одного.

Возились они, возились посреди камеры, а тут в дверь полковник Бессонов заглянул.

— Кончайте, — сказал, — товарищи. Пошли, Гаузе, за мной. Нагулялся. Ох, дела, дела...

И увел Петра Гаузе из рук вождей. А пока провожал до больницы, вслух размышлял:

— Изжили они свое, еще как изжили, новую политику надо вырабатывать. Без них, на твердых, демократических началах единовластия.

Призрак сзади по коридорам плелся, бормотал:

— Отдай его нам. Мы погибнем, ты погибнешь.

— А вот я и не погибну, — огрызнулся Бессонов. — Я вывернусь.

В коридорах пахло гарью, на полу валялись куски штукатурки.

— Как там Левкой с Морозовым? — спросил Гаузе.

— Погиб твой Морозов, вечная ему память, большой писатель и ученый. К сожалению, ничего от него не осталось. И Левкой пострадал...

## 15

— Где ты был, Петя? — Полина волновалась. — Тут без тебя столько событий, не представляешь!

— Знаю.

— А Левкой на твоем месте лежит. Раненый.

— А мне куда? В общую палату?

— В общей палате репетиция самодеятельности, — сказала Полина. — Там зэки будут песни петь под руководством капитана Левкоя.

— В карцер?

— От карцера ключей не найдут. И дверь туда завалило.

— На улицу?

— Нет, — сказал полковник Бессонов. — Вам, товарищ проверяющий, придется провести ночь в комнате Полины. Я бы сам пошел, да дела. А ты, Полина, не сопротивляйся. Приказ.

Оставил он Петра вдвоем с Полиной.

— Вот какая история вышла, — сказал Гаузе. — Вы меня не опасайтесь.

— Я тебя и не опасаюсь.

В том же большом доме, под крышей, каморка, живет в ней медсестра Полина. Не то заключенная, не то вольная, не то лагерная блядь, не то сестра милосердия.

Кровать девичья железная в углу. Зеркальце на тумбочке, стул, рукомойник, на стенах фотографии кнопками прикреплены. Окошко с решеткой.

— Здесь, на мансарде, слуги жили, — сказала Полина. — Помойся, если хочешь. Я за тебя беспокоилась. Боялась, что засыпало.

— Жаль, что я доставил вам беспокойство.

— Ты здесь человек нормальный, не считая Чапая. Остальных всех передушили.

Вымылся Гаузе с мылом, вафельным полотенцем вытерся.

Полина косынку сняла, волосы начала расчесывать. Волосы рыжие, темные. Красота у нее кошачья, сказочная, гибкая.

Охранник ужин принес. Пайка хлеба двойная, щи почти настоящие.

— Лично от начальника лагеря, — сказал.

Полина ни спасибо, ни звука.

Ушел солдат, Полина, как хозяйка, говорит:

— Хотите почитать перед сном, на тумбочке книжка.

Книжка Сетон-Томпсона про животных, с рисунками.

Вдруг снизу грянуло:

По долинам и по взгорьям

Шла дивизия вперед...

— Это что? — вскинулся Гаузе.

— Самодеятельность. Завтра конец месяца, план выполним, концерт будет. Капитан Левкой старается.

— Он мне сказал, что собакой работал.

— Преувеличивает.

— Я сам видел, как он по следу шел.

— Показуха. Не обращайте внимания. У него же родословной нету.

— С вами связана тайна, — сказал Гаузе.

— Какая уж тайна.

В Гаузе возникло странное трепетание. Вдруг понял в синих сумерках, что наступит ночь и лягут они спать. Вдвоем...

— Ай-ай-ай, — улыбнулась Полина. — У нашего молодого человека появились крамольные мысли. Не рассчитывай на взаимность. Разочаруешься.

— Почему вы так подумали?..

— Ты мне на колени поглядел. Робко, но сладострастно. Как старый генерал.

— Простите.

— Да ты не красней. Лучше мне о Москве расскажи. Посумерничаем.

Снизу завывало:

Степь да степь кругоооооом...

Гаузе про Москву рассказывал, за окном темнело. Полина встала, лампочку вывернула. Стало совсем темно. Охранник из-за двери:

— Не положено, Полина. Отбоя не было.

— Молчи уж. Спать иди.

Певцы охрипли, но пели.

— Что ж, — сказала Полина, — и нам спать пора. Завтра вставать рано. Всех на работу погонят.

— Но ведь не нас с вами.

— Всех. Завтра план месяца выполнять надо. Социалистические обязательства. Дорогу кончаем на помощь китайским братьям.

— Чепуха все это. До китайской границы далеко.

— Это только кажется.

— И Железную Маску выгонят?

— А это кто такой? Я никогда не видела.

— Берия, Лаврентий Павлович. Его вместо расстрела сюда укрыли. Я так полагаю, что двойника расстреляли, а его верные люди — сюда. В забытый лагерь.

— Ты говоришь, что Берия здесь?

— А что такого? Завтра я Пушкина увижу — уже не удивлюсь.

Полина вдруг замолчала, померкла, в себя ушла. В дверь стукнула:

— Эй, солдат, выведи меня в сортир. Потом П-234 выведешь.

## 16

Возвращался Гаузе из сортира в камеру, думать бы ему о побеге, о политических переменах, о призраке вождя, а он только об одном: ночь надвигается. Быть ему ночью вместе с Полиной. Глупо устроен человек — раб инстинктов. Где же твое благородство, Гаузе?

Странно преобразилась каморка, пока не было Гаузе. На тумбочке ночник-коптилка горит, у зеркала стоит прекрасная Полина, в шелковом пеньюаре, рыжие волосы распущены по плечам.

— Вы ложитесь, Петр Петрович, я сейчас.

Нет, не пеньюар это, а длинная рубаха до пола, сама, видно, сшила.

Плывет каморка над каменным домом, над подвалами страданий, над глухими звуками песни, держится, руководит капитан Левкой.

Гаузе быстро разделся, стесняясь своих черных трусов и серой рубахи. Простыни чистые, а подушка одна. Может, на полу лечь? Пол ледяной. До утра не доживешь. Не робей, Петр Гаузе, прекрасная лагерная блядь пригласила тебя к себе в постель.

— Я тушу свет, — сказала Полина. И ночник задула.

Под окном хриплые голоса — расходятся с репетиции зэки, идет семьдесят шестой год, двадцатый век движется к закрытию, Олимпиада в Монреале ознаменовалась новыми успехами советского спорта.

Теплое, душистое женское тело скользнуло под солдатское одеяло.

Гаузе, чтобы не упасть с койки, тянет дрожащие руки, обнимает красавицу Полину.

— Не так яростно, — улыбнулась Полина в темноте. Белые зубы сверкнули. А губы Петра Гаузе — ну что поделаешь со своими губами? — вытянулись, отыскали завиток волос над ухом. Вздохнула Полина, словно слилась на мгновение с Петром Гаузе... но только на мгновение.

Она уже на спине лежит. Только напряженная рука его плеча касается.

— Полина.

— Тридцать пять лет Полина.

— Мне уйти?

— Куда ты уйдешь?

Молчание.

Гаузе целиком на кровати не помещается, одна нога в воздухе висит. Одеяла не хватает. Но к Полине больше не тянется. Любовь должна быть добровольной.

— Ах, — говорит Полина, — совсем забыла, милый.

Поднимается на локте, обнаженной грудью задевает Петра, а он себя успокаивает: «Ничего, это анатомия, так женщины устроены, вот и все, а мне она как сестра».

— Вот, держите.

И вкладывает ему в руку пачку сигарет «Дукат» и спички. А сигареты старые, таких не делают, семьдесят две копейки на дореформенные деньги.

— О, спасибо!

Какое счастье закурить.

— Вот блюдечко, будете пепел стряхивать.

Луч прожектора метнулся, бесстыдно в окно залез. Полина лежит, на локоть оперлась, смотрит на Гаузе. Протянула руку, одеяло подоткнула, под Гаузе, чтоб не мерз.

— Расскажите о себе, — попросил Гаузе.

— А что обо мне рассказывать...

— О прошлом.

— О прошлом? Оно далеко было. Я сюда девочкой попала.

— За что?

— А разве дети попадали в лагеря за что?.. Была у меня мама, только я ее не помню, потом какая-то тетя приходила. Пропала. Бабушка была...

— А потом?

Над кроватью стоял полковник Бессонов. Как вошел — непонятно.

— Разговариваете? — ласково спросил. — Услаждаешь ли ты, Полина, нашего дорогого гостя?

Гаузе вскочил, черные трусы подтягивает.

— Не смейте, — кричит, — думать...

— А я по делу, — сказал Бессонов. — Ключи от карцера нашли. Вход расчистили. Все в порядке. Не будем мы тебе, Гаузе, больше мешать. Иди к своему Чапаеву и спи, раз ты не оправдал наших надежд.

## 17

Чапаев сел на нарах, зубы блестят, сапоги блестят, глаза блестят.

— Молодец, джигит, вернулся!

— Ти-ха, — сказал Бессонов. — Чтобы спать. Завтра трудовой день.

Свет погасили, тихо, сыро.

Шепот Чапаева:

— Вернулся! Теперь мы их вдвоем разнесем. Камня на камне не оставим. У меня программа есть: активного непротивления...

Гаузе отвечает лениво: да-нет, а сам думает о любви.

Так и заснул под шепот Чапаева.

Такой приснился странный сон Петру Гаузе. Вещий или лживый — кто разберет?

## 18

К утру приморозило. Гаузе это хорошо почувствовал. Мороз в подвал залез, стенки украсил изморозью, усы Чапаеву закалил, застеклил ледком.

Шум в коридоре. Баланду узникам несут. Охранник в парадной форме, медаль на груди, красный флажок в углу поставил, пайка полновесная, ударный день, большие события, конец месяца, конец великой стройки.

По лестницам, наверх, двери раскрываются — стариков из камер выталкивают — на свежий воздух.

Наверху капитан Левкой стоит. Рожа в бинтах — малиновый кончик носа наружу. Хрипит.

На плацу подпрыгивают, ежатся на морозце зэки — темная масса, ватники драные, на ноги смотреть страшно. Остатки людей. Другой жизни и нет — а кем раньше были? Вождями? Писателями? Учеными? Тайными людьми? Страшными преступниками? Невинными идеалистами? Кто посильнее душой — погибли, такие раньше погибают.

Чапаев с Гаузе отдельно стоят. Железной Маски нету. Даже на аврал не вывели.

Левкой речь хрипит:

— Граждане заключенные! Сегодня как никогда вы должны доказать, что полностью раскаялись в страшных злодеяниях. Честным созидательным трудом вливайтесь в труд нашей республики! Августовский план недовыполнен на двенадцать процентов. Если не закроем его, останемся без премий и горячей пищи. Сегодня мы должны сломить последнюю перемычку, отделяющую нас от светлого будущего. Да здравствует вечная и нерушимая дружба между советским и китайским народами! Да здравствует наш вождь и учитель, первый друг заключенных, родной товарищ Сталин! Да здравствует железный нарком, министр безопасности товарищ Берия! Ура!

— Ура, — мямлили шеренги.

Колонны двинулись к надзирателям, зэки послушно ватники расстегивали, надзиратели по бокам проводили, по карманам: а вдруг кто бомбу с собой несет? Тепла жалко, тепло ценное. А некоторые на Гаузе оглядывались — слух о нем прошел. Может, и не зэк он, а в самом деле проверяет? А вдруг Сталин умер?

Крамола, конечно, не может он умереть, какие доктора на воле, какие лекарства! Нет, не может...

— Эй, штрафная команда, вперед!

Обыскивают Петра Гаузе — а нет ничего у Гаузе. Левкой сзади ждет, топчется, за воротами уже тихонько шоколадную конфетку Петру Гаузе подсунул. Сжевали ее вдвоем с Чапаевым. Одна жалость — конфетка-то из черного хлеба слеплена, хоть обертка и настоящая.

Дорога грязная, истоптанная, скользят зэки, в лужи падают, конвой сердится. По сторонам из леса волки выбежали — наблюдают, не отстанет кто-нибудь? Ведь тогда и пища!

А вот и насыпь без рельсов.

— Мы эту дорогу строим? — спросил Гаузе у Чапаева.

— С сорокового года строим.

— А рельсы где?

— Рельсов не подвезли. Своих мало осталось.

Часа два шли, даже согрелись. Вот и насыпи конец. В обрыв она упирается.

Рушат зэки обрыв, копают его, а на вершине обрыва стоит призрак товарища Сталина, рукой показывает, чтобы скорее работали. Тоже, значит, на аврал вышел. Гаузе с Чапаевым землю на насыпь отвозят тачками, а рядом зэки шпалы тянут, вдесятером каждую, надрываются.

— Скорей! — конвой подгоняет. — Навались! Сегодня или никогда.

Кого-то в сторонку отвели, по роже бьют: не ленись в такой торжественный день. Волки из леса вышли, вдоль насыпи расселись, глядят, чтобы никто не убежал. В такой торжественный день и волки празднично настроены.

И увлекает Петра Гаузе героика коллективного труда. Уже не холодно ему, и не голодно, и даже курить не хочется. Работа создает человека. Смысл в ней есть — потому что она Работа. Что дом строить, что колокол отливать: покажи русскому человеку настоящую работу, он обо всех лишениях забудет. Такая у русского народа натура.

Скоро развалится перемычка — уже слышно, как навстречу стучат. И, как назло, ручная сирена зудит: обед.

С неохотой отрываются зэки от работы, в очередь встали, кому двести граммов пайка, кому — премиальный пирожок с капустой. Едят, на Гаузе поглядывают. Понимает Петр Гаузе, что сейчас самое время встать и рассказать этим старикам о переменах на воле. Пересилил усталость Гаузе, поднялся, чтобы речь начать, а тут капитан Левкой, проницательный, замотанный бинтами, подскочил:

— Поел? Готов! На работу!

И растащили зэков по рабочим местам.

Чапаев рядом тачку тащит и говорит:

— Не расстраивайся. Я договорился в первом бараке. Ты с сообщением сегодня ночью выступишь, с информацией. Очень люди истосковались по свежему слову. У нас же радио сломанное. Только музыку передает.

— Не разговаривать нужно... — начал было Гаузе, но тут шум, грохот, крики.

Рухнула перемычка.

Рухнула перемычка, славный момент наступил.

— Ура! — охранники закричали.

Зэки рады бы покричать, но сил нет, валятся на насыпь, охранники сами вперед ринулись, землю руками разбрасывают — увидеть спешат тех, кто им навстречу идет.

А там, навстречу, тоже охранники.

Такие же.

Обнимаются с нашими. Победа!

А за охранниками зэки, лежат на той, дальней насыпи, без сил.

Странно все это Гаузе, не такого он ждал. Неужто и второй лагерь в лесу спрятан?

А тут рельсы подтащили — сторонись! Два хлыста с каждой стороны.

Полковник Бессонов спешит. За ним лагерные художники свернутый брезент несут. Развернули брезент вертикально, укрепили. С двух сторон на нем паровоз изображен. Видно — несется на всех порах по завершенному пути. Из трубы дым, красный лозунг на передке.

Висит брезент поперек насыпи, на месте перемычки. С какой стороны ни посмотришь — паровоз несется.

Встал полковник Бессонов перед паровозом, не боится быть задавленный.

Фотограф-парикмахер камеру притащил, птичка вылетела. Снимает Бессонова на память потомству. А по бокам охрана.

— Открываю движение по великой магистрали! — говорит Бессонов. — Награждаю отличившихся ударников внеочередным свиданием с родными и дополнительной посылкой, как только свидания и посылки возобновятся.

Обежал Бессонов брезент, с той стороны эту операцию повторил.

— Так куда же дорога ведет? — Гаузе у Чапаева спросил.

— Ясное дело, никуда, — Чапаев ответил. — Тридцать лет ее строил. Большой круг мы совершили и сегодня замкнули. Четные бараки с нашей стороны, нечетные — с той. Неужто до сих пор не понял?

## 19

Вернулись к лагерю в темноте. Охранники волновались, покрикивали, волки глазами, как угольями, из чащи сверкали, звезды на небо высыпали, как волчьи глаза.

Перед лагерем, когда до тепла бараков осталось всего ничего, колонну остановили. Ждать на морозе. Видно было, бегают по лагерю охранники, что-то произошло. У ворот сам полковник Бессонов руками машет.

Так и простояли, наверно, полчаса, чуть не вымерзли совсем. На счастье, охранники тоже люди, морозу подвержены. Лейтенант к воротам сбегал, покричал там, пожилой лейтенант, под шестьдесят, ему на пенсию бы, а не зэков по лесу гонять. Сдвинулось, погнали.

Гаузе так замерз и измотался, что не заметил, как в карцере оказался.

— Что случилось? — беспокоился Чапаев. — Сегодня ночью нам с тобой в барак идти, агитацию проводить. А что, если шмон?

— Как же мы в барак попадем?

— Там, за нарами, ход.

— И никто не знает?

— Им особо не попользуешься.

А почему — не сказал.

Сопит Чапаев, возится на нарах, а Гаузе сел на табурет, переживает — давно Полину не видал. И на строительном аврале ее не заметил. Как она тут?

— Кто такой? Что такое? — это Чапаева голос.

Из щели, узкой, черной — кошке не уместиться, — Полина вылезает.

— Не выдавайте, Василий Иванович.

— Ты как сюда попала? Как нашла тайное место? Тридцать лет ни один чекист не нашел.

— От нужды найдешь.

Гаузе к Полине бросился, руки ей жмет.

— Рассказывай, дорогая. Как ты, что с тобой?

Чапаев даже сплюнул от такой нежности. Отвык.

Полина на нарах скорчилась комочком, зубы стучат:

— Я Берию убила.

— Кого? — Чапаева удивить трудно. А сейчас железная челюсть — бах на пол.

— Берию. Железную Маску.

— Он здесь содержался?

— Да, — это Гаузе подтвердил. — Я с ним разговаривал.

— Разговаривал, а мне ни слова.

— Когда же? Мы с тобой железную дорогу строили.

Снова Гаузе к Полине обернулся, гладит ее по руке, успокаивает. Она дух перевела, рассказала:

— Я от тебя узнала, что он здесь. За столько лет не догадалась. Лагерь пустой, все на работах, я полы мою. Взяла таз, тряпку, вниз пошла. У конвойного ключи взяла — он меня знает, — стала камеры отпирать. Вот и нашла Железную Маску. Может, я бы и не убила, но он меня как увидел, обнимать бросился. Кричать-то мне нельзя — охранник ушел, подвалы глухие. Тут я его руки узнала.

— Чего? — не понял Гаузе.

— Руки узнала. Видела я эти руки. Давно еще, в той жизни. И задушила я его. Не знаю как, но задушила. И бежать...

— Ты не бойся, — сказал Чапаев. — Они тебя по баракам ищут.

И тут тихий смех раздался.

Стоит посреди камеры призрак вождя народов Сталина, призрачную трубку сосет, ухмыляется.

— Хотел Лаврентий пересидеть, переждать, времени своего дождаться. А не дождался. Теперь я один остался...

— Товарищ Сталин, — Чапаев вскинулся, руки по швам. — Докладываю, что подвергался унижениям и издевательствам. Вы, товарищ Сталин, даже не знаете, какие зверства здесь вашим великим именем прикрывались.

— Ах, знаю, все знаю, — призрак сказал. — Только выбились они из-под моего контроля. Ну ничего, Чапаев, мы с тобой их всех скрутим... А пока прощайте, надо что-то с вами сделать.

— С нами? — Чапаев удивился.

— А с кем же? Нельзя же безнаказанным преступление оставлять и тех, кто укрывает преступников, — тем более. Министра убили, и думаете, я вас прощу?

— А ты промолчишь, когда выйдешь?

— Промолчу! — Гаузе заявил, а сам на Полину смотрит. Ради нее готов промолчать.

— Не верю, — Сталин сказал, призрачную трубочку из призрачного рта вынул. — Никому не верю.

— И правильно делаешь, — сказала Полина. — Он промолчит, я не промолчу.

— Я со своей стороны также не имею права, — сказал Чапаев.

— Вот видишь, — сказал Сталин.

Гаузе стыдно стало, что он малодушнее других оказался. Но ведь ради любви!

Сталин исчез.

Словно и не было.

— Бежим, — сказал Чапаев. — Скорее!

Чапаев за нары нырнул, копается там.

— Скорее!

А Полина Гаузе за руку взяла. Держит, пальцы длинные, сухие.

А по коридору шаги. Голос Бессонова:

— Они в карцере у Чапаева.

Голос Левкоя:

— А как узнали?

— Товарищ Сталин сказал.

Чапаев в щели скрылся, остальные за ним протискиваются. В черную дыру.

Последнее: дверь в камере скрипит, открывается. И голос Бессонова:

— Утекли. Пускай воду. Затопляй подвалы!

## 20

Они ползли бесконечно по черному лазу, думали, что навсегда там останутся, но, к счастью, древний старик-правдолюбец навстречу вышел, свечу принес.

— Я тоже ухожу, — сказал. — Только своим путем. Они воду пустили. Скоро все здесь затопят.

И в стену ушел, свечку, правда, оставил.

Вышли за зоной, в лесу.

Там, у лаза, волк стоит, бережет выход. Что делать?

— Погодите, — Полина сказала.

Вышла первой из лаза и пошла на волка. Волк хвост поджал — и к кустам. Оттуда и смотрел, как они мимо идут. Двое в ватниках, на третьей холщовое платье, как мешок.

Снег пошел, рано ему, а снег. К ботинкам липнул.

— Пожрать ничего не взяли, — сказал Чапаев. — Слона бы сейчас съел.

Дорога плохая — бурелом, овраги, заросли. Да еще снег идет и тает.

Погоня настигла их на рассвете, когда уж не было сил брести по черному лесу. Свечка кончилась, огарок сжевали втроем, хороший огарок, дореволюционный.

Погоню волки навели. И Сталин тоже. Так и бежали они впереди, перед охранниками, — волки и вождь.

Когда не было уже мочи бежать, выбежали они, падая и спотыкаясь, оборванные, мокрые, грязные, на обрыв над рекой. Река на помрачительной глубине струилась, отражая в себе рассветное небо.

Волки сходятся полукругом. Полина их с трудом взглядом удерживает, за волками Сталин рукой указывает, сзади охранники из кустов лезут.

— Что ж, — сказал Чапаев, — прощайте, товарищи. Вторая река в моей жизни роковая. Или переплыву, или снова кино про меня снимайте.

Разбежался и сиганул с обрыва. Без крика, без звука.

— Полина, — сказал Петр Гаузе, — я тебя люблю.

— Спасибо, — сказала Полина. А сама все на волков смотрит.

Взялись они за руки. Полковник Бессонов из леса показался.

— Жалко, — сказал Гаузе, — что не удалось нам закрыть этот лагерь. Последний.

— Да, — сказала Полина, которая современной обстановки не знала, — на один меньше бы стало.

И прыгнули они вниз, с непостижимой высоты, к серебряной полосе безымянной лесной речки.

И летели, не отпуская рук.

## 21

Упали, но не разбились. На мягкое упали. На шерстяное.

— С приездом, — сказал Чапаев. Тоже живой.

— Это что такое? — спросила Полина.

— Тише, — сообразил Гаузе. — Пускай они думают, что мы разбились.

Сверху голоса галдят, кто-то фонариком светит. Но темно еще, да и луч не достает.

— Капитан Левкой! — Бессонов приказывает. — Спустись вниз с отделением, подбери их на берегу. А если кто еще признаки жизни показывает, добей из милосердия.

Чапаев вниз заглянул, с карниза, на котором лежали. А там глубина, полдороги не пролетели.

Где же мы? Гаузе, руками дорогу ощупывая, вдоль карниза пополз. Вот бы сейчас свечку зажечь.

— Хотите верьте, хотите нет, — сказал Чапаев, — настоящим мясом пахнет.

Перед Гаузе горбик. Спуск вниз. Две загнутые палки...

— Мамонт! — крик шепотом. — Я же мамонта искал. А вот он, мамонт.

Мамонт когда-то здесь в обрыв вмерз, в вечную мерзлоту, а вот теперь, с обвалами да потеплениями, обнажился. Какой-то охотник мимо проезжал, в Академию наук сообщил, Академия Петра Гаузе в командировку послала. Он лодку опрокинул, чуть не погиб, в лагерь попал. Вот какие совпадения бывают. Гаузе мамонта не нашел, а мамонт сам нашелся.

— Не могу я больше, — прошептал Чапаев, — должен я в него вгрызться.

— Может, мясо испорченное, — сказал Гаузе. В самом-то деле ему мамонта жалко стало. Научная реликвия, не для питания.

— Хоть какое, — Чапаев сказал. — Я тридцать лет мяса не видел.

— Это же мамонт, — сказал Гаузе. — Ему тридцать тысяч лет.

Чапаев ножик вытащил, ножик сверкнул. Светало.

— А мы ведь все равно в ловушке, — сказала Полина. — Вниз не спрыгнешь. Наверх не поднимешься.

А Петр Гаузе об этом думать не хочет.

— То, что я тебе наверху сказал, это правда.

Полина сидела, колени подтянув к подбородку, глядела на светлеющий горизонт.

— Знаю, — сказала она. — Я тебя тоже полюбила.

— Эй! — это сверху Бессонов кричит. — Маска, я вас вижу! Поднимайтесь!

— Сам спускайся! — сказал Чапаев.

— Они надо мной! — снизу кричит Левкой.

— Они подо мной! — сверху кричит Бессонов.

— Где веревка? — это Сталин спрашивает.

— Сержант — срочно в лагерь, веревку принеси! — это Бессонов.

Убежал сержант. А до лагеря часа два, а то и больше. Чем дольше, тем лучше. Может, какой-нибудь охотник по реке проплывет. Или рыбный инспектор. Да и веревка у них гнилая...

— Не бойся, мы уйдем, — успокаивает Гаузе Полину. Руку в ладоши забрал, греет. От Чапаева только голова наружу торчит, так глубоко в мамонта ушел. Вдруг охнул старик, выполз наружу, нагнулся вперед и обильно на Левкоя выблевал.

— Молодой человек! — кричит Бессонов сверху. — Вы заблуждаетесь, если полагаете, что добьетесь справедливости. Ни один здравомыслящий человек не поверит, что в лесу стоит забытый лагерь. Знаете, что они подумают? Подумают, что если стоит, значит это кому-то надо. И не нам соваться. В этом смысл всей нашей истории. Кому-то надо! Вы меня слышите?

— Разберутся, — отвечает Гаузе. Не хочется ему думать об этом. — Разберутся.

— А мне ничего не угрожает, — сказал Бессонов. — Я никого не репрессировал без суда и следствия. Я не садист и не преступник.

— Разберутся, — ответил Гаузе.

— Я строил стратегическую дорогу.

— Без конца и без начала.

— Земля тоже круглая, но никто не считает преступником Господа Бога. Сейчас мы спустим веревочку, поднимайтесь, будем считать инцидент исчерпанным. Я вас на кухню определю. Или в больницу. Дам должность доктора медицинских наук. Решайтесь.

— Нет, спасибо.

— Неужели вы в самом деле думаете, что в кабинете нового министра безопасности, фамилии которого я, к сожалению, не знаю, нет прямого аппарата, связанного с моим лагерем? Телефон молчит, но когда нужно он зазвонит.

— Разберутся.

— Вас первого посадят в лагерь. За клевету.

— Разберутся.

Уже совсем рассвело. Левкой с охранниками ступеньки в обрыве выдалбливает, чтобы подняться. Ну, это еще нескоро. Полина задремала, голову на колени Петру Гаузе положила, от мамонта тяжелый дух идет. Веревки все нет, охранники сверху головы склоняют, сами давно мясного духа не слышали. Чапаев в мамонте шурует, для Гаузе это как нож по сердцу, но молчит.

Вот охранник бежит.

— Где веревка?

— Нет веревки, товарищ начальник. Беда.

— Чего еще?

— Охрану-то мы сняли, сюда побежали, а зеки разбежались.

— Быть того не может... а волки?

— Волки же тоже здесь.

— Догнать их!

— Что там случилось? — Левкой снизу кричит.

— Лагерь кончился! — торжествует Гаузе. — Нет больше лагеря.

— Молчать! Никто лагеря не закрывал. Поплутают по лесу и вернутся. Никуда не денутся. Они другой жизни не знают. Добровольно в лагерь придут. Сейчас быстро покончим с этими и пойдем зеков собирать.

— Как?

— Кидайте на них сверху камни. Бревна кидайте. Все кидайте. Объявляю их вне закона!

И стали охранники камни собирать, пень выворачивают...

— Лезьте сюда, — приказал Чапаев. Подвинулся, место освобождая.

Заползли Полина с Гаузе внутрь мамонта. Чапаев край шкуры сверху закинул, закрыл.

Сотрясается мамонт от ударов, от лишнего груза. Еще камень, еще бревно... вот и пень упал...

И вывалился мамонт из обрыва, рухнул вниз — капитана Левкоя в лепешку, скатился в реку и поплыл словно плот.

— Не догоните! — Чапаев шкуру откинул, наружу вылез, как из подводной лодки.

Но ошибся.

Проплыл мамонт недолго, на мель сел.

## 22

Островок посреди реки. У островка и застрял мамонт.

Бегут к берегу охранники, волки, Сталин.

Протока-то глубокая, холодная, не преодолеть вброд. Бегают по берегу, ругаются.

Чапаев на мамонте сидит, с отвращением на кусок мяса смотрит.

— Бессонов! — кричит. — Беги в лагерь. А то тебе стеречь некого будет.

А тот в ответ приказывает:

— Строить плот!

Разбежались охранники по берегу, бревна ищут, плот вязать думают. А Чапаев их мясом дразнит. А тут еще Гаузе добавляет:

— Товарищи военнослужащие! Вас обманывают. Времена изменились. Спокойно возвращайтесь домой, к семьям, к честному труду.

— А я вас засужу! — кричит Чапаев. — Жизни не пожалею! По судам загоняю!

Вздыхают охранники, тянут бревна.

Посреди островка холм песчаный, в нем яма. Теплая, сухая. Ушла туда Полина, Гаузе за ней. Легли рядом на песок. Гаузе ей руку на плечо положил.

— Тебе не противно? — Полина спрашивает.

— А почему?

— Я — убийца. Я человека задушила. Этими руками.

— Он давно умер.

— Для тебя. Для меня — только что. А может, и не умер...

— Полина, не думай, я все знаю о твоем прошлом.

— Ничего ты не знаешь.

— У нас будет дом, работа...

— Ты знаешь, почему я его убила?

— Не это сейчас главное.

— Это. Меня девочкой, в десять лет, к нему привели. Он девочек любил. Поэтому я и руки его узнала. Руки не меняются.

— Ой, — замолчал Гаузе, но руку не убрал. Держит.

Полина подниматься начала.

Тут Гаузе ее к себе двумя руками привлек.

— Милая, забудь...

— Никуда нам от них не деться. Доберутся до нас. Всюду доберутся. Мы же беглые.

А сама гладит его, грязный ватник распахнула, глаза дикие, зеленые, кошачьи. Губы мягкие стали, податливые.

У Гаузе глаза застилает, дыхание прерывается.

— Не надо, — шепчет, — не сейчас...

— Другого не будет. Ничего больше не будет... Возьми меня, Петя.

И взял ее Петр Гаузе на песчаном острове, под бегущими облаками, под далекие перекрики охранников.

И был он ее первым мужчиной. Не было других...

— А как же? — спросил он потом.

— За то я и в лагере была, что не смог он.

— Но ты говорила, что ты...

— Я тебя ждала. Я тебя все эти годы ждала.

Они лежали под ватником, прижавшись друг к дружке.

И тут Чапаев закричал:

— Ребята, скорее! Поезд отправляется!

А они готовы уж были никуда отсюда не уходить, с этого острова, здесь и погибнуть, кончился их путь.

Нет, иное.

Выбежали они на холмик.

Видят: по реке вал воды идет. Видно, в верховьях дожди сильные, наводнение.

Охранники от берега вверх. Один Бессонов, упрямый человек, у кромки воды стоит.

Призрак Сталина руки раскинул, водяной вал пытается удержать, а воды сквозь него хлещут.

— Скорей! — Чапаев торопит.

Мамонта первой волной качнуло.

Полина с Гаузе на мамонта взобрались.

Подняло мамонта водой.

Чапаев на голову взобрался, между бивней сидит, шестом отталкивается.

Подхватила вода полковника Бессонова, понесла вниз, наперегонки с мамонтом, но отстал полковник, пропала под ледяной водой его голова в фуражке с синим околышем.

Плывет мамонт по реке.

Гаузе Чапаеву говорит:

— Ты потерпи, скоро настоящее мясо увидишь. А мамонт для науки нужен. Я тебе запрещаю.

Тон у Гаузе изменился, потому что он свой долг перед наукой ощущает.

Вот и дорога по берегу показалась. Едут по ней самосвалы на стройку БАМ, дорогу с концом и началом. Глядят шоферы из окошек с удивлением на мамонта с пассажирами.

Так Петр Гаузе мамонта нашел.